

Philosophy and History of Religion, Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture

Философия и история религии, философская антропология, философия культуры

DOI 10.31696/2618-7043-2020-3-1-51-69
УДК 244+821.521-1«1120/ ...»

Оригинальная статья
Original Paper

Опьянение и смех в японском буддизме: по «Собранию стародавних повестей», свиток 28-й

Н. Н. Трубникова

Школа актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6784-1793>, e-mail: trubnikovann@mail.ru

Резюме: «Собрание стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю», 1120-е гг.) как памятник буддийской мысли Японии особенно интересно с точки зрения истории понятий, восходящих к текстам канона и осмысленных применительно к повседневной жизни японской общины. Одно из таких понятий – «опьянение», *ѐи* (санскр. *мада*), толкуемое и в прямом смысле (сознание, затуманенное алкоголем, дурманом), и в переносном (сознание, одолеваемое некой страстью, навязчивой тягой либо неприязнью к чему-то). В «Кондзяку» опьянение служит главной темой для свитка 28-го; обычно этот свиток читают как подборку шуточных рассказов, хотя итог их вполне серьезен. Поддавшись страсти, человек не просто действует себе во вред, но и делается смешным для окружающих, а значит, завязывает с ними особую связь, когда люди принимаются потешаться над ним. Такая связь выглядит неоднозначной: с одной стороны, она вредна (насмешничая, люди лгут, совершают жестокие поступки и т.д.), а с другой – полезна, коль скоро выявляет общее для людей понимание смешного, а значит, единый для них контекст привычного, условно «правильного», на который хотя бы иногда возможно опереться в непостоянном мире. В статью вошли переводы нескольких рассказов 28-го свитка «Кондзяку».

Ключевые слова: буддизм в Японии; «Собрание стародавних повестей»; опьянение; смех; страсти

Для цитирования: Трубникова Н. Н. Опьянение и смех в японском буддизме: по «Собранию стародавних повестей», свиток 28-й. *Ориенталистика*. 2020;3(1):51–69. DOI: 10.31696/2618-7043-2020-3-1-51-69.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.





Intoxication and Laughter in Japanese Buddhism: based on *Konjaku monogatari shū*, *maki 28*

N. N. Trubnikova

*School for Advanced Studies in the Humanities, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6784-1793>, e-mail: trubnikovann@mail.ru

Abstract: the *Konjaku monogatari-shū* (1120s) is a Buddhist *setsuwa* collection especially interesting when being put into the context of concepts, which go back to the texts of the Canon. These concepts are considered to the everyday life of the Japanese *sangha*. One of these concepts is *yoi*, “intoxication” (Skt. *mada*). Traditionally, it is being interpreted literally (an intoxication achieved by an intake of alcohol, dope etc.) and in a figurative sense (a human’s consciousness obsessed by a passion). In *Konjaku*, the intoxication is the main motive for the *maki 28*. This text is usually read as a set of stories, which are considered as comic regardless of their quite serious end. By succumbing to passion, a person not only acts to his detriment, but also looks ridiculous to others. This means that by getting inebriated he puts himself into such a circumstance when other people start making fun of him. An emotional relationship between a drunk person and the society looks ambiguous: on the one hand, it is harmful for an individual (mocking, people lie, commit cruel acts, etc.), and on the other, it is useful if it reveals a common understanding of the concept of funny. This is a constant value, which is one of the few things to be relied upon in the volatile world. The article includes translations of several stories from the 28th *maki* of *Konjaku*.

Keywords: Buddhism in Japan; *Konjaku monogatari-shū*; intoxication; laughter; passions

For citation: Trubnikova N. N. Intoxication and Laughter in Japanese Buddhism: based on *Konjaku monogatari shū*, *maki 28*. *Orientalistika*. 2020;3(1):51–69. (In Russ.) DOI: 10.31696/2618-7043-2020-3-1-51-69.

«Собрание стародавних повестей» чаще всего обсуждают как памятник японской литературы конца эпохи Хэйан (IX–XII вв.), как самый крупный сборник поучительных рассказов *сэцува* [1]. Но его можно рассмотреть и как важный источник по истории японской религиозно-философской мысли. По его простым рассказам можно судить, например, какие тексты буддийского канона стали известны шире других, какие понятия буддийского учения вошли в повседневный обиход¹.

Собрание охватывает весь известный рассказчикам мир и всю историю: от Индии времен Будды через Китай и до Японии недавних дней. Рассказы о каждой из трех стран делятся на буддийские и мирские, хотя

¹ Об истории исследований «Кондзяку» см.: [2]; о месте памятника в японской словесности см.: [3].



противопоставление это условно: мирские истории постоянно соотносятся с Законом Будды, имеют буддийскую «мораль». Однако выводы далеко не всегда высказаны напрямую: по большей части поучительный смысл рассказов определяется контекстом, в котором они звучат, переброской мотивов из одной истории в другую. На русском языке об этом писал Г. Г. Свиридов [4]. Прочтение любого рассказа зависит как от его места в ряду других в тематическом свитке, так и от места свитка в структуре собрания.

Свиток, который я бы хотела рассмотреть, 28-й, помещается в мирском разделе японской части, его объем – 44 рассказа, обычный для «Кондзяку» (всего рассказов в собрании более тысячи, свитков насчитывается 31, из которых три утрачены либо были задуманы, но не составлены). Начинаться мирской раздел мог рассказами о японских государях, но этот свиток (21-й) пуст, имеет только порядковый номер. За ним следуют свитки о сановниках из рода Фудзивара (22-й), о полководцах и силачах (23-й), о гадалках, врачах, поэтах и других мастерах своего дела (24-й), о воинах (25-й), о странных совпадениях, не объяснимых иначе как последствиями деяний прежних жизней (26-й), о демонах, призраках и прочей нечистой силе (27-й). Тема 28-го свитка в тексте собрания обозначена просто как 世俗, *сэдзоку* («мирская жизнь», «миряне»); далее следуют рассказы о злодеях (29-й свиток), о влюбленных (30-й) и, наконец, подборка историй на разные темы, чей общий мотив – утрата традиции: забытые обычаи, заброшенные святыне места и т.д. (31-й).

Если сопоставить «Кондзяку» с более поздними сборниками *сэцува*, то 28-й свиток здесь занимает примерно то же место, какое там отводится историям о дураках, шутниках и остроумцах. В пример можно привести седьмой раздел «Сборника наставлений в десяти разделах» – «Дзиккинсё» или восьмой свиток «Собрания песка и камней» – «Сясэкисю:» (оба памятника составлены в XIII в.). И там, и здесь многие рассказы восходят к дневникам придворных рубежа X–XI вв. – той блестящей поры, что описана в «Записках у изголовья» и «Повести о Гэндзи». Во мнении последующих поколений в те времена нормы жизни казались самыми четкими во всей истории Японии: было ясно, как нужно себя вести, а потому и понятно было, что выглядит глупым и смешным. При этом, когда при дворе кто-то «делался посмешищем», *вараваруру*, речь шла о нарушении в основном неписаных правил: их надо было угадывать, чувствовать, не забывая, что придворные порой сознательно нарушают приличия, чтобы смутить и опозорить других. В начале XII в. подобные истории во множестве вошли в «Го:дансё:» – «Подборку рассказов Ооэ-но Масафусы», чья главная тема – как уцелеть и преуспеть на придворной службе. Ее герои постоянно оттачивают навык уместно и точно высказаться – или ограничиться жестом, или



многозначительно промолчать, выражая то самое понимание конкретной ситуации, которое отличает умного человека от глупого. В этом японские остроумцы наследовали давней традиции непрямого, «обходного» высказывания, восходящей еще к китайской древности (см.: [5]). Все это, впрочем, вполне сочеталось с шутками, на нынешний наш вкус весьма грубыми (см.: [6]).

В рассказах 28-го свитка «Кондзяку», как и всюду в этом собрании, действуют не только придворные, но и монахи, и воины, и простолюдины. «Дураком», «простаком» 白者, *сирэмоно*, может оказаться каждый: дело не в недостатке ума, а в стечении обстоятельств. Часто рассказы начинаются с подробного описания героя: вообще-то он был даровитым чиновником, доблестным воином, достойным монахом, но однажды попал в глупое положение. «Глупым» 嗚呼, *око*, оно во многом становится как раз оттого, что в необычных обстоятельствах человек по самонадеянности или из-за смущения, страха пытается делать вид, что все в порядке. При этом, как отмечает Маэда Масаюки, *око* в «Кондзяку» не равняется «комическому», *коккэй*, вообще: это всегда смешное для кого-то из героев, но часто – не для рассказчика [7].

В первом рассказе свитка воины дворцовой охраны в весенний праздник идут в святилище поклониться богу Инари – подателю урожая, богатства и семейного счастья. Один из воинов, известный бабник, замечает в толпе красиво одетую женщину и пытается с нею заигрывать. Он рассказывает ей, какая у него злонравная жена, как он рад будет ее бросить и жениться на другой, при этом не замечая, что встречная незнакомка, скромно прячущая лицо, и есть его постылая супруга. Дело кончается перепалкой при участии приятелей мужа.

Рассказ 28–2 тоже приурочен к празднику, на этот раз летнему – во славу богов реки Камо, хранителей столицы. Здесь действуют молодцы из отряда знаменитого хэйанского воина Минамото-но Райко (942–1021), победителя «земляных пауков» и прочей нечисти. Трое его свитских описаны как «воины без изъяна».

Как-то раз в последний день праздника Камо эти трое в шутку говорят меж собой: как бы нам посмотреть сегодняшнее шествие?

– Оседлаем коней, поскачем в Мурасакино², оттуда, должно быть, весьма недурной вид. Но тогда мы не сможем прятать лица, как пешие³. А посмотреть очень хочется! Что будем делать?

² На северной окраине столицы.

³ Воины не хотят, чтобы их разглядывали посторонние; пеший мог прикрыть лицо шляпой, но для всадника это бесполезно, ведь на него окружающие будут смотреть снизу вверх. Знатные женщины обычно любовались шествием из-за опущенных занавесок возка.



Так они сетовали. Один предлагает:

– А давайте у досточтимого [монаха] Такого-то одолжим возок, на нем и поедем, и будем смотреть из него?

Другой возражает:

– Если без привычки поедем в возке, а нам встретится важная особа, нас из возка выкинут, да еще, пожалуй, бить будут, так мы и погибнем напрасно!⁴

Третий говорит:

– А что, если опустить занавески, будто в дамском возке, и смотреть сквозь них?

Двое других согласились: прекрасная мысль! Одолжили у досточтимого возок и поехали.

Опустили занавески, оделись все трое в простые синие кафтаны и штаны, залезли в возок, башмаки забрали с собой, уселись, рукава подобрали – в точности как будто в возке едут дамы-недотроги!

Велели ехать в Мурасакино и отправились. А из этих троих ни один прежде в возке не катался⁵: как влезли под крышу, как стало трясти, всех троих растрясло. Кто голову отбил о стенку, кто лбами столкнулся, кого кверху подбросило, кого вверх тормашками перевернуло – усидеть никак невозможно! Так они едут, всех троих укачало, чуть не вывалились наружу, шапки свалились с голов.

Вол отличный, бежит резво, ездоки хриплыми голосами просят погонщика: не гони ты так, не гони! А по той же дороге едут и другие возки, при них пешие слуги, слышат и удивляются: кто же это в том дамском возке? Похоже на восточное воронье карканье [...]»⁶. Быть может, дочери какой-то особы, прибывшей с востока, собрались посмотреть на праздник? Но голоса-то грубые, громкие, мужские. Ничего не понять!

И вот, доехали, наконец, до Мурасакино. Погонщик распряг возок, поставил оглобли на подставку. Приехали слишком рано, шествия еще придется ждать. Вояк в возке укачало, всем троим худо, голова кружится, всё словно бы вверх ногами. Все трое улеглись задом кверху и заснули.

И вот, шествие двинулось, прошло, а вояки спят, как убитые, не слышат, так всё и пропустили. Праздник кончился, возки стали разъ-

⁴ Опасение вполне резонно: на празднике Камо из года в год слуги знатных зрителей грубо перетаскивали чужие возки, чтобы освободить место для своих господ (подобное происшествие описано в «Повести о Гэндзи» в главе «Мальвы»).

⁵ О том, что ездить в возке нужно уметь, говорится во многих текстах. Например, в «Повести о доме Тайра» полководец Минамото-но Ёсинака, взявший столицу в ходе междоусобной войны в конце XII в., пытается впервые в жизни проехать по городу в возке и оказывается полностью беспомощен.

⁶ Жители столицы на слух отличают говор Восточных земель, он считается более резким и грубым, чем говор столичной округи.



езжаться, поднялся шум, тут-то наши трое и проснулись. Мутит, зрелище проспали, ничего не видели, досадно и обидно безмерно!

– Если обратно возок полетит так же быстро, останемся ли мы живы? Въехать верхом в тысячное вражье войско – не страшно, дело привычное. Но довериться опять этому негодяю погонщику, чтоб он над нами измывался? Ни за что на свете! Если назад поедем в возке, точно не уцелеем! Давайте немного подождем тут, а когда на дороге станет свободнее, пойдём пешком!

Так они решили, и когда люди разъехались, вылезли из возка, отослали его в город. А потом, прячась, надвинув шапки на нос, прикрываясь веерами, вернулись в дом [своего господина].

[Один из троих] потом рассказывал об этом:

– Хоть и зовут нас храбрыми воинами, возок мы в битве не одолели. С тех пор мы к возкам и близко не подходим, ни за что!

Хоть и были они храбры и рассудительны, но в возке прежде никогда не ездили, вот и вышло так нелепо, чуть насмерть их не укачало! (28–2)

«Укачало» здесь – *ёитару*, форма глагола *ёу*. Он записывается иероглифом 醉, всего в нашем свитке этот знак встречается 18 раз в разных значениях: «опьянеть», «одурманиться», «отравиться». На мой взгляд, слово *ёи* как раз и задает главную тему свитка, отвечает на вопрос, что именно делает человека смешным. *Ёи* – это состояние, когда человек не владеет собой, совершает ошибки, говорит «чепуху», *око-но кото*, ведет себя как «помешанный», *моногуруи*, но причиной тому – не одержимость божеством или духом (как в свитке 27-м), а нечто посюстороннее.

Важнейший в японской словесности контекст для *ёи* – это «песня ИРОХА», по которой учили азбуку: «Красота сияет миг || И увяла вся. || В нашем мире что, скажи, || Пребывает ввек? || Грани мира суеты || Ныне перейдя, || Брось пустые видеть сны || И пьянеть от них!» (пер. Н. И. Конрада). Последняя строка – это буквы ВЭ-ХИ-МО-СЭ-СУ, прочесть их можно как *ёи-мо сэдзу*. Песня, куда по одному разу вошла каждая из букв слоговой азбуки, кратко выражает буддийское учение о мировом непостоянстве и пути выхода из него; ее принято считать переложением четырех строк из «Сутры о нирване» (*Нэхан-гё*; ТСД⁷ 12, № 374, 450а–451а: 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂: «Всё движется, ничто не постоянно, таков закон рождения и уничтожения, кто уничтожит рождение и уничтожение, в покое уничтожения возрадуется»). Преодоление рожде-

⁷ Здесь и далее ссылки на тексты китайского буддийского канона даются по стандартной пагинации издания «Тайсё: синсю: дайдо:кё:», сокр. ТСД («Большое собрание сутр, заново составленное в годы Тайсё:»). См.: <http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index.html>. Первая цифра означает номер тома, вторая – номер текста, третья – номер страницы, далее буквами обозначены колонки на странице (а, b, c).



ния и смерти, о котором говорится в сутре, в песне названо более конкретно, победой над «ничтожными сновидениями» непостоянного мира, выходом из «опьянения».

Что касается канонических контекстов для знака 醉, то к ним относятся, прежде всего, те места в сутрах и уставах, где говорится о запрете на алкоголь и всякий другой дурман. Такова одна из пяти главных заповедей, наряду с запретами на убийство, воровство, половое распутство и ложь. В Японии, как и в других странах буддийского мира, эти заповеди были общеизвестны. Не меньшим почтением пользовались «заповеди бодхисаттвы» из «Сутры о сетях Брахмы» (япон. *Боммо:кё*; ТСД 24, № 1484, 1004с), где одна из десяти главных, «трудных» заповедей запрещает не употребление алкоголя, а его продажу другим людям. Кто идет путем милосердия, не должен никак поощрять людей, когда те опьяняют себя, а должен всеми способами препятствовать им. С самого начала эпохи Хэйан в Японии одной из самых влиятельных была буддийская школа Тэндай; ее основатель Сайтё: (767–822) учил, что все японцы имеют достаточные способности для милосердного подвижничества, а потому «заповеди бодхисаттвы» им подходят больше всего. В «Кондзяку» влияние Тэндай прослеживается на разных уровнях [8], и можно сказать, что смех над опьяненными – это один из путей осуществления заповеди. И когда речь идет о дурмане в переносном смысле, будь то флирт или глупые развлечения, люди точно так же смеются над теми, кто поддался этим страстям, а значит, помогают им очнуться.

В то же время учение школы Тэндай, как кажется, не велит ни над кем смеяться: для нее важнейшие слова из канона – это фраза, в которой, как считается, кратко выражена основная мысль «Лотосовой сутры» (япон. «*Мё:хо: рэнгэ кё*»; ТСД 9, № 262, 50с). В сутре люди смеются и издеваются над бодхисаттвой Никогда Не Презирающим, а он отвечает: «Я глубоко почитаю вас и не могу относиться [к вам] с презрением. Почему? [Потому что] вы все будете следовать Пути бодхисаттвы и станете буддами!» (перевод А. Н. Игнатовича). Если кому и следует подражать, то бодхисаттве, а не его гонителям.

В следующих рассказах праздники продолжают. Отрекшийся государь Энъю-ин в новогодние дни 985 г. устраивает поэтическое собрание, приглашает лучших стихотворцев из самых знатных семей. Известный, но неродовитый немолодой поэт Сотан является незванным, полагая, что круг ценителей песенного слова без него неполон; старика бранят и с позором выгоняют (28–3). Наместник края Овари, добродетельный чиновник, приглашен с семьей и свитой ко двору на осенний праздник Пяти танцев, Госэти. Гость несведущ в дворцовых обычаях, и молодые придворные в шутку убеждают его, что одна из древних, уже непонятных в эпоху Хэйан, праздничных песен сочинена нарочно к его приезду и имеет издевательский смысл. Наместник в гневе, его люди в ужасе,



а весь двор потешается над ними (28–4). Другой наместник, чьей задачей было поставлять в столицу из края Этидзэн рис для содержания дворцовой стражи, задерживает выплаты. Стражники берут в осаду его дом и требуют жалованье. Продержав их несколько часов на жаре, наместник затем зовет их пировать, угощает соленьями и *сакэ*, после чего всем им делается дурно, все бегут в уборную и смеются сами над собой (28–5). Участник шествия на уже упомянутом празднике Камо, пожилой книжник, на виду у толпы зрителей падает с коня, теряет шапку, так что все видят его лысину, да еще и произносит длинную речь о том, что смеяться тут не над чем: это всех забавляет еще больше (28–6). Провинциальный чиновник приглашает монаха провести обряд освящения нового храма; неверно поняв указания наставника, чиновник нанимает сельских музыкантов, и те вместо благолепных напевов Чистой земли исполняют нечто шумное и залихватское; монах не может понять, попал он на сборище сумасшедших или сам внезапно лишился рассудка (28–7). В усадьбе столичного сановника проходят чтения сутр, один ученый монах придирается к другому из-за якобы неправильного произношения, а тот отвечает так остро, что в итоге обидное прозвище навсегда пристает к педанту (28–8).

Один из высокопоставленных монахов, старейшина общины, готовится к радостному событию: его ученик должен впервые сам провести обряд. Старейшина поручает настоятелю своего храма, монаху по имени Дзёдэй (в данном случае это его подчиненный) позаботиться о подношениях. Всего требуется тридцать коробок, половину настоятель обещает заготовить сам, а насчет остальных написать прихожанам.

Настал день обряда. Все пятнадцать коробок, что заготовили разные люди, доставили в храм. А коробок от Дзёдэя пока не видно. Общинный старейшина думает: странно! Что это Дзёдэй припозднился с коробками? И тут входит Дзёдэй: тесемки шаровар подтянуты, обмахивается веером, шествует степенно. [...] Старейшина спрашивает: и что? Дзёдэй отвечает важно:

– Тут такое дело, пять коробок у меня не готовы.

– Ну, и?

Дзёдэй чуть понизил голос, говорит:

– И еще пять у меня не собраны.

– А остальные пять? – спрашивает старейшина.

Дзёдэй совсем упавшим голосом говорит:

– Я про них напрочь забыл...

– Ты с ума сошел?! – говорит старейшина. – Если бы распределил по прихожанам, тебе тех коробок доставили бы и сорок, и пятьдесят! О чем ты думал, негодяй, что так провалил дело!

«Допрошу его!» – решил старейшина, крикнул: – Ведите его сюда! Но настоятеля уже и след простыл – сбежал! (28–9)



Эти истории о праздниках можно прочесть как примеры к теме «карнавальной» стороны средневековой японской культуры, по М. М. Бахтину, как это делает, например, Мишель Ли [9]. Однако, на мой взгляд, рассказчик в «Кондзяку» чаще сочувствует тем, над кем смеются, хотя и признает, что хотя бы отчасти эти люди сами навлекли на себя насмешки, в частности – «опьянев» от торжественности момента или от чувства собственной значимости.

Жители столицы порой устраивают себе и другим потеху и без праздничного повода. Беседуя с наставником в храме, мирянин, опять-таки из дворцовой стражи, нечаянно издает неприличный звук; монахи учтиво не замечают этого, но воин сам восклицает: лучше бы я умер! – и тут уже смех разбирает всех кроме него самого (28–10). Чиновник застаёт у себя в доме любовника жены, распорядителя храма Гион; любовник спрятался в сундук, и муж велит отнести этот сундук в Гион в качестве пожертвования. Там сундук долго не решаются открыть – ведь распорядителя нет на месте, а именно он должен принять и записать ценные дары! – но в итоге бедняга подает голос из сундука, ко всеобщему веселью (28–11). Другая неверная жена случайно посылает мужу одежду своего любовника-монаха (мужу требуется переодеться, чтобы сразу после служебного дня отправиться за город с товарищами). Муж на виду у людей обнаруживает ошибку и слагает остроумные стихи (28–12). Столичный мастер-ювелир попадает в немилость к отрекшемуся государю Кадзану, его пытаются, оставив зимней ночью на дворе усадьбы в бочке с ледяной водой, а он кричит на всю улицу: «Люди! Смотрите, не ищите милостей [...] у государя-монаха! Очень он добрый, трудно вынести! Уж лучше остаться простолюдином!» (28–13). Явившись ко двору на обряд, монах подшучивает над дворцовой служанкой, а та отвечает острой шуткой, необычной в устах благовоспитанной девушки (28–14). Отслужив положенных срок в государственных храмах на острове Кюсю, пожилой монах возвращается в столицу с грузом богатых подношений. На его корабль нападают пираты, а он делает вид, будто он – старый воин, прошедший много битв в междоусобицах и под конец жизни принявший постриг; хоть он и предлагает своим морякам сдаться без боя, пираты в страхе перед ним отступают (28–15). Возвращаясь со службы, чиновник раздевается и одежду складывает под циновку на дне возка; когда на него нападают разбойники, он сообщает: меня уже ограбили (28–16). Подобные анекдоты можно встретить в памятниках других традиций, не только китайской, но и западных, и ближневосточных. Как мне кажется, роль их в нашем свитке такова: напомнить читателям, над чем обычно смеются люди, и показать, что во всех этих случаях смешна человеческая уверенность в том, как надо, как полагается действовать.

Далее серия рассказов касается опьянения в прямом смысле слова: отравления ядовитыми грибами. Монах, читавший сутры для Фудзивара-



но Митинаги (в действительности правившего Японией в начале XI в.), поел грибов, умер, и Митинага жертвует средства на его похороны. Этот случай отмечен в дневниках придворных за 1005 г. Узнав о несчастье, другой монах посылает ученика за ядовитыми грибами, надеясь, что и ему устроят достойное погребение, только на него яд отчего-то не действует (28–17). Еще один монах в горах Кимпусэн решает отравить смертельно ядовитыми грибами ватари (*Omphalotus japonicus*) пожилого распорядителя своего храма, чтобы самому занять его должность, но старик ест и похваливает. Он знал, что устойчив к яду этих грибов, и мало того что не отравился, еще и узнал о злодейском замысле подчиненного. В рассказе описаны приметы отравления: «Сначала у него станет мутиться ум, заболит голова, он лишится рассудка...» (28–18). Монах-служка школы Тэндай на горе Хиэй однажды, пойдя за дровами, приносит из лесу грибы, его наставники спорят, ядовитые эти грибы или нет, потом один из монахов все-таки пробует их и заболевает, а собратья произносят для него проповедь, построенную на созвучии слов такэ («гриб») и такэ («горная вершина»), гора Гридхракута, где проповедовал Будда (28–19).

К грибам рассказчик еще вернется, а пока продолжает тему нездоровья. Следующая история легла в основу знаменитого рассказа «Нос» Акутагава Рюноске («Хана», 1916): от неизвестных причин у монаха распухает нос и становится таких огромных размеров, что во время еды его приходится поддерживать особой дощечкой. Монах проделывает сложные и болезненные процедуры, чтобы уменьшить нос, но помогают они лишь ненадолго. И вот однажды отрок, который обычно держал дощечку, заболел и на его место заступил другой.

Взял доску для поддержки носа, правильно развернул, поднял нос, как следует, наставник поел каши и говорит: этот мальчишка держит очень хорошо, даже лучше, чем обычно мой ученик! – ест дальше, а мальчишка отворачивается и говорит: вот это нос! И поднимает нос еще выше.

И тут у отрока рука дрогнула, нос соскочил с дощечки и угодил в миску с кашей, вся каша расплескалась в лицо и наставнику, и мальчишке.

Наставник в великом гневе взял бумагу, вытирает кашу с лица и говорит:

– Ты, бестолочь ничтожная! А если бы ты не мне поддерживал нос, а какой-нибудь знатной особе? Что тогда?! Невежда ты, дурак! Вон отсюда!

Выгнал его, мальчишка вышел, убрался подальше и говорит:

– Были бы на свете еще у кого-нибудь такие носы, я мог бы держать нос на стороне. Что за чепуху несет почтенный монах!

Другие ученики, слыша это, выбежали на двор и расхохотались (28–20).



Странные недуги – или просто телесные особенности – описаны в еще двух рассказах. Над чиновником при дворе подшучивают из-за бледного цвета лица, именуя его Вечнозеленым, а он обижается. Государь, высоко ценя этого человека, требует прекратить насмешки, один из придворных нарушает запрет и в виде извинения устраивает пир. Правда, вся посуда и угощения на пиру зеленого цвета, слуги и сам обидчик одеты в зеленые наряды, так что прозвище с тех пор привязывается к обиженному навсегда (28–21). Другого чиновника зовут Звездочетом за привычку высоко держать голову, будто он смотрит в небо; однажды насмешник спрашивает у него, что предвещают звезды, и он отвечает: беду тебе! И точно, насмешник вскоре умирает (28–22). В этих двух случаях «опьянением» оборачивается обида.

Еще один чиновник – средний советник (*тю:нагон*), одаренный, знающий, – страдает от чрезмерной тучности, обращается к лекарю, и тот велит ему питаться жидкой рисовой кашей.

Как-то раз в шестом месяце средний советник велит лекарю: вот уже время прошло, [а я не похудел!] Посмотри, как я ем рисовую кашу! Лекарь послушался приказа, а средний советник позвал слугу, тот явился. Средний советник велит: подай рисовой каши, как я обычно ем! Слуга вышел, вскоре вернулся, принес столик, поставил перед господином. А на столике две пары палочек. Следом за ним другой слуга принес поднос, глядь – а на подносе большое блюдо с сушеной дыней ломтями по три *сун* [9 см], не мельче, и таких ломтей с десятков. А другое блюдо с рыбой, выдержанной в уксусе: крупные толстые рыбины, голова к голове, хвост к хвосту, их три десятка. И там же большая чаша. И все это на одном подносе! А еще один слуга принес большой серебряный котел с большой серебряной же ложкой – еле дотащил и поставил перед господином.

Тут средний советник взял чашу, велит слуге: наливай! Слуга ложкой зачерпнул риса, наполнил чашу до краев, а сверху чуть-чуть долил воды. Советник придвинул к себе поднос, чашу поднимает – держит ее в такой огромной ручище, видно, чаша-то большая, а будто бы в ней и нет ничего!

Сначала отведал дыни: трижды откусил – в три глотка и проглотил. Потом рыбы: дважды откусит – и глотает, пять или шесть рыбин влегкую съел. Потом принялся за кашу, кажется, всего два раза палочками крутнул – а каша-то и кончилась. Велит: наливай еще! – и протягивает чашу.

Тут лекарь говорит: даже если, как уговорено, есть разбавленную кашу, но есть ее вот так, ты полнеть не перестанешь! И выбежал вон. А потом рассказывал людям и смеялся. В итоге тот средний советник расплел еще больше, стал похож на борца сумо (28–23).



Монах-отшельник прославился тем, что много лет воздерживался от злаковой пищи. Государь призвал его ко двору, придворные из любопытства явились посмотреть, чем испражняется человек, когда блюдет столь строгий пост. В уборной они не нашли ничего особенного, а позже обнаружили у монаха запас риса: оказалось, он тайком все-таки подкреплялся (28–24). Смутить человека при дворе и уничтожить его доброе имя вообще легко. Один чиновник непристойным жестом рассмешил другого, когда тот сидел на важном заседании, и смеявшемуся устроили разнос (28–25). Другой толкнул собрата по службе на церемонии объявления новых должностей, у того с головы упала шапка, и все смеялись (28–26).

Считать ли веселье особого рода опьянением? Отчасти на этот вопрос отвечает рассказ 28–27. Наместник края Идзу ищет себе заместителя из местных чиновников и находит человека – грузного, сурового на вид и, как вскоре выясняется, добросовестного и умного.

Как-то раз он сидел перед наместником, разбирал множество грамот, писал по ним решения и ставил печать. А в усадьбу явились скоморохи (傀儡子, *кугуцу*), тоже расселись перед наместником, стали петь, играть на флейтах, потешать его. Наместник, слушая их, весьма развеселился, думает: занятно! И тут увидел, как его заместитель ставит печать: этот его отменный чиновник, следуя за скоморошьей игрой и пением, стучает печатью на три счета. Видя это, наместник думает: странно! Стал присматриваться – а заместитель с важным видом еще и веером ударяет на три счета. Скоморохи это тоже заметили, стали петь и играть еще веселее и быстрее.

Тут заместитель низким, грубым голосом стал подпевать их песенке. Наместник дивится, думает: что это с ним? А заместитель стукнул печатью, говорит:

– Трудно прошлое забыть!

И вдруг вскочил и пустился в пляс, – а скоморохи играют все быстрее.

Люди в усадьбе, видя такое, стали хохотать и потешаться, заместитель устыдился, перестал плясать и выбежал вон. Наместник в удивлении спрашивает у скоморохов: что это с ним? А скоморохи говорят:

– Этот человек давным-давно, в молодости, сам был скоморохом! Но научился писать, читать, и теперь оставил скоморошье ремесло, вон кем сделался – заместителем наместника здешнего края! Мы думали: а что, если он прежнего своего сердца не утратил? На самом деле мы затем и пришли сюда, и вот, надо же...

Наместник отвечает:

– И верно, когда он ставил печать и стучал веером, по нему видно было.



Люди в усадьбе видели, как заместитель наместника опрометью убежал, думают: скоморохи так весело пели и играли, он, должно быть, не выдержал, пустился плясать. Вот ведь как, а он и виду не подавал, что на такое способен! А когда услышали, что говорят скоморохи, поняли: значит, у него с самого начала было сердце скоморошье! Потом люди в усадьбе и во всем том краю смеялись над ним, называли заместителем-скоморохом. Стали чуть хуже думать о нем, но наместник ему очень сочувствовал и оставил на службе.

Рассказчик, подытоживая, говорит, что люди решили: заместитель наместника был «одержим духом скоморошества» 傀儡神と云ふ物の狂かしける, *кугуцу-ками-то цу моно-но курувакасикэру*. Вероятно, имеется в виду, что им овладел бог – покровитель скоморохов: неясно, какой именно [1, с. 242]. Но возможно и другое толкование: причиной невольного веселья стали для человека его прежние деяния, даже не из прошлой, а из нынешней жизни. Такое наглядное осуществление закона причин и последствий заставляет сочувствовать герою. Обычные люди прежних жизней не помнят, но житейский опыт подсказывает: кто был скоморохом, тот в чем-то навсегда скоморохом и останется. Этот вывод можно распространить и на дела прежних жизней, и получится, что сама непостоянная земная жизнь учит тому же, чему учил и Будда.

Столичные дровосеки заблудились в лесу и вдруг встретили монахинь: те пошли за цветами для храма, поели грибов *маутакэ* (*Grifola frondosa*), развеселились и пустились плясать. Дровосеки доедают оставшиеся грибы и тоже пляшут. «А потом словно бы очнулись от дурмана, вспомнили дорогу и все вернулись восвояси» (28–28). В усадьбу знаменитого книжника-миряннина Ки-но Хасэо (845–912) повадилась лазать чужая собака, и гадатель истолковал, что это означает: в такой-то день к тебе явится демон, но вреда не причинит. Хасэо не соблюдает положенного в таких случаях «удаления от скверны», *моноими*, в тот самый день занимается с учениками, но тут является страшное существо и зловеще воет. Один из учеников понимает, в чем дело: все та же собака ухитрилась надеть себе на голову ведро и не может снять. Собаку вызволяют, а люди потом спорят: сбылось предсказание или нет? (28–29). Желая подольститься к начальству, мелкий чиновник выпрашивает у знакомого повара на кухне в богатой усадьбе гостинец – рыбу, засоленную в бамбуковых листьях. Люди из усадьбы в шутку подменяют сверток, так что вместо рыбы начальник находит там рваные сандалии и прочий мусор; угодливый чиновник посрамлен (28–30). Этот и два предыдущих рассказа объединяет мотив выхода из опьянения, чем бы оно ни было вызвано.



«Опьянеть» можно и от отвращения. В рассказе 28–31 весьма убедительно описана аллергическая реакция на кошачью шерсть: чиновник-казнокрад «боится кошек» (до дрожи, неудержимых слез и т.д.), и начальник пользуется этим: запирает его в комнату с кошками, чтобы заставить признаться в воровстве и вернуть украденное. Подобный же страх, смешанный с отвращением, могут вызывать змеи, даже неядовитые (28–32). Но и попытки забавляться с животными порой грозят бедою: некий чиновник, увидав у моря крупную черепаху, в шутку «здоровается» с ней (якобы узнав в ней прежнюю жену), подносит близко к лицу, черепаха вцепляется ему в губы и наносит тяжелую рану (28–33). Небрезгливые люди вообще часто становятся посмешищем – как воин, которому указали, что он по рассеянности начал есть из господской посуды, а он все выплюнул обратно (28–34).

Длинный рассказ 28–35 представляет целый набор страстей. Главная здесь – любовь к состязаниям. Придворные, разбившись на две команды, готовят на столичном ристалище выставку редкостей: «Старшие и младшие братья, давние друзья – если уж оказались на разных сторонах, думали только о том, как бы посрамить соперников». И вот в день состязания команда Левых выставляет, среди прочего, наряд для верховой езды: его показывает прекрасный наездник на отличном коне. И тут Правые выпускают против него монаха в рубище верхом на корове. Всадник и его сторонники в гневе, а супостаты еще и насмеваются, в рядах зрителей некто в маске демона пляшет издевательский танец. На состязаниях тайно присутствует сам канцлер, он велит остановить безобразников, танцор в страхе вскакивает на коня и уезжает, забыв снять маску; он скачет по улицам столицы, наводя ужас на прохожих. Следующий рассказ сохранился не целиком, но, видимо, в нем шла речь о страсти к рисованию: старика-монаха, искусного художника, ценят, прежде всего, за смешные картинки. Его молодой и кичливый собрат обижается, когда старик якобы несправедливо распределяет между братией подношения мирян; старик посылает ему покаянное письмо с рисунком – но на этом рассказ обрывается, что художник нарисовал, неизвестно (28–36). Страсти к почестям и к лошадям снова обсуждаются в рассказе 28–37. Уже известный нам отрешившийся государь Кадзан велит проучить приезжего воина за неучтивость: тот не спешил, проезжая мимо усадьбы государя-монаха. Но, видя редкое мастерство наездника, Кадзан его отпускает с миром.

«Опьянеть» от грибов, оказывается, можно, даже не отведав их, просто поддавшись страсти грибника. Наместник края Синано отслужил положенный срок и возвращается в столицу, но по пути, проезжая по мосту над глубоким ущельем, срывается вниз вместе с конем.



..Только верхушки кипарисов и кедров видны далеко внизу, до них – двадцать хиро [36 м], а сколько до дна – и вовсе не понять. И когда наместник упал, никто из свиты не думал, что он уцелеет.

Весь его большой отряд спешил, стоят у перил моста, глядят вниз – ничего не поделаешь, ничем не поможешь!

– Был бы тут спуск – спустились бы, посмотрели, что с наместником.

– Поедем сегодня же, поищем, где не так круто, спустимся!

– Отсюда на дно никак не спустишься. Что поделать...

Так они толкуют меж собой, и вдруг со дна ущелья раздается крик, будто кто-то зовет издалека.

– Это господин наместник!

Служилые кричат, голос наместника издалека им отзывается.

– Он что-то приказывает! А ну, слушайте все, что за приказ!

А он кричит:

– Привяжите корзину на длинные веревки и спустите мне сюда!

Тут служилые поняли: наместник цел, за что-то держится! Собрали все веревки, сколько у кого было, привязали накрепко корзину и стали осторожно спускать.

Еще не на всю длину веревки размотались, а уже натянулись: значит, наместник внизу корзину поймал! Со дна слышно:

– Теперь тяните вверх!

Господин велит тянуть! Потянули – а корзина совсем легкая.

– Что-то легкая корзина! Если бы господин наместник в нее забрался, была бы тяжелее! – говорят одни.

– Наверно, он пока хватается за ветки, – отвечают другие. – Помогает поднимать, оттого и легко!

Тянут все вместе, подняли, глядь, а там грибы вёшенки (хиратакэ) – полная корзина. Люди ничего не понимают, переглядываются: как же так? Прислушались опять, а снизу слышно:

– Спускайте снова!

Служилые услышали, говорят: так, спускаем снова! И спустили корзину. Снизу наместник велит: тяните! – послушались, потянули, в этот раз гораздо тяжелее. Стали тянуть все вместе, вытянули и видят: в корзине наместник. Одной рукой держится за веревку, а в другой у него три пучка грибов. Так и ехал наверх.

Выбрался, сел на мосту, люди его все радуются и спрашивают:

– Но откуда грибы?!

Наместник отвечает:

– Когда я полетел вниз, конь сразу рухнул на дно, а я следом за ним падал кувыркком, цеплялся за ветки и нечаянно повис. Я за ветку ухватился, полез дальше сам, с ветки перебрался на большой сук и там остановился. Встал в развилке сучьев, обхватил толстую ветку, держусь, а на том дереве полным-полно грибов! Я не мог на них налюбоваться, сначала собрал все, докуда руками дотянулся, сложил в корзи-



ну и поднял вам. Но там еще осталось! Их так много – словами не описать! Сколь же многого я лишился!

Служилые говорят:

– В самом деле, лишились!

И тут все разом расхохотались. Наместник говорит:

– Нечего глумиться, эй, вы! Я словно бы вошел в пещеру, полную сокровищ, а вышел с пустыми руками⁸ – вот как я себя чувствую! Сказано же: наместник, куда упадет, там и хватается за землю!

Старший служилый, заместитель наместника, в сердце своем думает: этакая напасть! А вслух говорит:

– Воистину так! Уж ежели что попадет в руки – как же не взять? Никто не удержался бы. А вы, господин, человек изначально умный, даже на краю гибели – не растерялись, во всем поступали, как привыкли действовать в обычную пору, а потому без суеты брали, что в руки попало. Точно так же и когда управляли краем, прекрасно собирали подати, как желали, отправились теперь в столицу, а люди края Синано печалятся о вас, любят, как отца и мать! Так живите же еще тысячу осеней, десять тысяч лет!

А про себя тайком посмеивается.

Думается, раз в такой передрыге наместник не растерялся, не дрогнул сердцем и нутром, а сначала собрал грибы и послал наверх – до чего же он был жаден! Пока служил, надо понимать, брал с людей, что только мог. Кто слышал, и бранили его, и смеялись (28–38).

Еще один наместник был на самом деле белым цепнем в обличии человека, и когда по прибытии во вверенный ему край его угостили кушаньями из орехов (а орехи помогают избавиться от подобных паразитов), ему сначала сделалось дурно, а потом он и вовсе исчез без следа. При всей удивительности происшествия реакция отворачивания здесь снова описана вполне достоверно (28–39). Чудо имеет место и в рассказе 28–40: возчики доставляют в столицу груз дынь, по дороге угощаются дыней, встречный старик просит угостить и его, ему отказывают, и тогда старик из брошенного семечка выращивает дынный куст, на нем мгновенно созревают дыни, возчики их пробуют, а потом выясняется, что куст был наваждением, а настоящие дыни все исчезли (28–40). Неясно, была ли чудесной жаба, которая завелась в дворцовых воротах, но об нее постоянно спотыкались все, кто входил и выходил. Один из школяров, будущий чиновник, взялся ее побороть: правда, вместо жабы растоптал собственную шапку и сделался всеобщим

⁸ Сравнение, взятое из буддийского трактата «Прекращение неведения и постижение сути» (кит. «Мохэ чжигуань», япон. «Мака сикан», ТСД 46, № 1911); обычно оно указывает на того, кто познакомился с учением Будды, но не попробовал применить его на деле.



посмешищем (28–41). Другой храбрец, воин, спросонья испугался собственной тени, точно так же обозналась и его жена. Супруги долго спорили, кого видели: рослого грабителя с мечом или длинноволосого мальчишку, но остались весьма горды, что сумели прогнать того и другого (28–42). Еще один служилый воин нашел себе повод для гордости в том, что шапку его изгрызли крысы, и господин пожаловал ему свою (28–43). В последнем рассказе свитка путник прячется от дождя в старинной темной гробнице и ночью слышит, будто кто-то вошел. Он думает: не иначе, демон явился, чтобы сожрать меня! Но это не демон, а другой такой же путник: он располагаетя ночевать, оставляя часть еды из дорожного запаса в качестве приношения духам; первый путник угощается, а второй, заметив, что еда исчезла, в ужасе убегает, оставив первому всю свою поклажу (28–44).

Примечательно, что самое обычное, алкогольное опьянение в «Кондзяку» оказывается далеко не на первом месте в ряду примеров *ёи*. «Пьянеют» люди почти от всего, для каждого находится свой дурман. Судить, «пьян» человек или мыслит трезво, сам он вряд ли способен. Определить это можно по тому, как его воспринимают другие люди: смешно ли им. Таким образом, оказывается, что заповедь «избегать опьянения» – невыполнима в одиночку. Можно стараться не давать поводов для смеха, но это не значит, что люди не найдут, из-за чего над тобой посмеяться, какие твои поступки счесть неразумными. Отчасти то же самое можно сказать и про другие заповеди: в следующем, 29-м свитке «Кондзяку» речь идет не только об убийцах и ворах, но и о людях, которые сами провоцируют ближних на злодеяния. Здесь, как мне кажется, видна установка рассказчиков, устойчивая на протяжении всего повествования: жизнь в непостоянном мире задает условия для связей между людьми, и для освобождения от страстей важны именно эти связи.

Литература

1. Кондзяку моногатари-сю: = Собрание стародавних повестей. В: Конно Тоору, Икэгами Дзюнъити, Коминэ Кадзуаки, Мори Масато (ред.) *Син Нихон котэн бунгаку тайкэй = Новое большое собрание памятников японской классической литературы*. Токио: Иванами; 1999. Т. 37. (На япон. яз.)

2. Трубникова Н. Н., Бабкова М. В. Собрание стародавних повестей в оценках исследователей: основные вопросы и трудности. В: Стрельцов Д. В. (ред.) *Ежегодник Японии*. М.: Институт востоковедения Российской академии наук; 2018. Т. 47. С. 163–203. DOI: [10.24411/0235-8182-2018-10008](https://doi.org/10.24411/0235-8182-2018-10008).

3. Трубникова Н. Н., Коляда М. С. «Собрание стародавних повестей» в традиции японских поучительных рассказов XII–XIV вв. *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. 2018;4(46):34–44. DOI: [10.24866/1997-2857/2018-4/34-44](https://doi.org/10.24866/1997-2857/2018-4/34-44).



4. Свиридов Г. Г. *Японская средневековая проза сэцува (структура и образ)*. М.: Наука; 1981.

5. Жюльен Ф. *Путь к цели: в обход или напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции*. М.: Московский философский фонд; 2001.

6. Грачев М. В. Суетная придворная жизнь (несколько соображений о повседневности «человека двора» в древней и раннесредневековой Японии). В: Мещеряков А.Н. (ред.) *История и культура Японии 8*. СПб.: Гиперион; 2015. С. 70–85.

7. Маэда Масаюки. Гуко:-о кимадзимэ-но катару кото – Кондзяку моногатари-сю:-но баай = Рассказывать серьезно о смешном: случай «Собрания стародавних повестей». *Нихон бунгаку*. 1997;(46):10–21. (На япон. яз.)

8. Ватанабэ Сюдзюн. *Сэцува бунгаку-но Эйдзан буккё: = Буддийское учение горы Хиэй и литература поучительных рассказов*. Осака: Идзуми сёин; 1996.

9. Li M. O. *Ambiguous Bodies. Reading the Grotesque in Japanese Setsuwa Tales*. Stanford: Stanford University Press; 2009.

References

1. Konjaku monogatari shū. In: Konno Tooru, Ikegami Dzyun"iti, Komine Kadzuaki, Mori Masato (eds) *Shin Nihon Koten Bungaku Taikei*. Tokyo: Iwanami; 1999. Vol. 37. (In Japan.)

2. Trubnikova N. N., Babkova M. V. Konjaku Monogatari Shu in scholar appreciation: Main issues and problems. In: Streltsov D. V. (ed.) *Yearbook Japan*. Moscow: Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences; 2018, vol. 47, pp. 163–203. (In Russ.) DOI: [10.24411/0235-8182-2018-10008](https://doi.org/10.24411/0235-8182-2018-10008).

3. Trubnikova N. N., Kolyada M. S. Konjaku Monogatari-shu in the Japanese didactic tales tradition of XIIth. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke = Humanities Research in the Russian Far East*. 2018;4(46):34–44. (In Russ.) DOI: [10.24866/1997-2857/2018-4/34-44](https://doi.org/10.24866/1997-2857/2018-4/34-44).

4. Sviridov G. G. *Japanese Medieval Setsuwa Prose: Structure and Image*. Moscow: Nauka; 1981. (In Russ.)

5. Jullien F. *Le Détour et l'accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce*. Paris: Grasset; 1995.

6. Grachev M. Vain court life (some considerations to the everyday life of the courtiers in ancient and early medieval Japan). In: Meshcheryakov A.N. (ed.) *History and culture of Traditional Japan 8*. St Petersburg: Giperion; 2015, pp. 70–85. (In Russ.)

7. Maeda Masayuki. "Telling Follies in Earnest – A Reading of Konjaku-monogatari. *Japanese Literature*. 1997;(46):10–21. (In Japan.)

8. Vatanabe Syudzyun. *Setsuwa bungaku to Eizan bukkyō = Setsuwa Literature and Hiei Buddhism*. Osaka: Izumi shoin; 1996. (In Japan.)

9. Li M. O. *Ambiguous Bodies. Reading the Grotesque in Japanese Setsuwa Tales*. Stanford: Stanford University Press; 2009.



Информация об авторе

Трубникова Надежда Николаевна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.

Раскрытие информации о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Информация о статье

Поступила в редакцию: 24 февраля 2020 г.
Одобрена рецензентами: 7 марта 2020 г.
Принята к публикации: 7 марта 2020 г.

Information about the author

Nadezhda N. Trubnikova, Ph. D. habil., Professor, Leading Research Fellow of the School for Advanced Studies in the Humanities, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation.

Conflicts of Interest Disclosure

The author declares that there is no conflict of interest.

Article info

Received: February 24, 2020
Reviewed: March 7, 2020
Accepted: March 7, 2020